

84(2=411.2)

Р471

Цена 1 руб. 20 коп.

НАРОДНАЯ
БИБЛИОТЕКА

№ 121.

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

ЯШКА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
МОСКВА—1919.

С 190911 - ко

JK

16/ix 85 133

Р-47.

НАРОДНАЯ
БИБЛИОТЕКА

84(2=411.2) 471
Р-3 (471)
Р471

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

Я Ш К А

С 1909113

Изд. 1936 г. № 1/404113

1936 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНСТИТУТ
ОБЛ. БИБЛИОТЕКИ
г. СВЕРДЛОВСК

К.К.

123

Все сочинения **Ф. М. Решетникова** монополизированы Российской Федеративной Советской Республикой на пять лет, по 31 декабря 1922 г.

Никем из книгопродавцев указанная на книге цена не может быть повышена под страхом ответственности перед законом страны.

Заведующий Лит.-Изд. Отд. Нар. Ком. Просв.

И. И. Лебедев-Полянский.

Я ш к а.

Осень стоит грязная. Назад тому неделя как выпал снег, покрыл всю Петербургскую сторону, где уже ездят на санках, тогда как в самом Петербурге ездят на колесах; мостовые, особенно на бережная Петербургской стороны, заледенели, отчего не одна женщина имела несчастье шлепаться всем корпусом на лед и поэтому проклинать свою жизнь и проклятую осень; но сделалась оттепель, какие в невской столице не редкость и зимою, пошел дождь, снег размочил, и он уплыл к набережной Невы. Хороша бывает грязная осень и в самом Петербурге; осень же в патриархальной Петербургской стороне еще лучше. Об этом нечего говорить. Кто имел удовольствие прожить хотя год в этой стороне, тот очень хорошо знает, что нигде так не заметны во всем Петербурге четыре времени года, как в этом петербургском предместье, обиталище чиновников, салонниц, людей, любящих тишину и покой, любящих вспоминать о провинции и жить по-провинциальному, и небольшого количества бедняков, студентов университета и медицинской академии.

Вечер. Тихо на Петербургской стороне. Кое-где, и то по большим улицам, проедет извозчик с седоком, да кое-где через дорогу пробежит, кто ни будь, или продают в разных местах несколько со

бак. Темно, — так темно, что в узких улицах и переулках около Мытнинского перевоза нередкость провалиться в спуск в какой-нибудь лавке в подвале, стукнуться лбом об угол какого-нибудь дома или шлепнуться в грязь, оступившись где-нибудь в яме. Ни одного фонарика тут нет. Так было назад тому шестнадцать лет; так почти и теперь есть, точно прогресс сюда не хочет переправляться через Неву; впрочем, он уже полегонечку переправляется: фонари теперь есть, только в малом количестве, горят часто не все и тускло, потому что газ сюда еще не перебрался через Неву. Восемь часов вечера; обитатели Белостокского переулка еще не спят: там и сям, по обеим сторонам в окнах виден свет, кое-где мелькают по стенам тени. Тихо в Белостокском переулке, — так тихо, что так и кажется, что все люди здесь уже собираются спать или, сидя на стульях, зевают, — к чему наводят громкие зевки лавочников в подвалах, крестящих рты и приговаривающих: „О о хо-о-о!.. А!! а!! согрешили попы за наши грехи“... Но чу! послышался откуда-то писк ребенка; кричит где-то какая-то женщина; из одного мезонина вдруг послышался густой бас: „Огверзу уста моя и наполнится духа“ и слово „отрыгну“... и замерло все.

Но вот кто-то шлепает по грязи и натывается то на заплоты, то на стены домов.

— А штоб тебе провалиться совсем... Ну, вот!! — говорил мужской охриплый голос. При восклицании мужчина, как видно, провалился к лавке по подвалу.

Из лавки вышел высокий бледный мужчина в полушубке и грязном фартуке. Он нес свечку.

— Эко тебя любезный сатануло!.. Ставай, ставай! О!!—и лавочник стал пихать мужчину ногой. Мужчина приподнялся.

— Послушай... Ну, и темь,—проговорил он.

— А, Якову Саввичу... Да; и темь же!

— Вот все хочу фонарь промыслить... У купца Егорова славный видел в кладовой. Только знаешь ты, друг, двух боков нету.

— Какой же это фонарь?

— Все же лучше бутылки!

— Ха, ха! Твоя-то Матрена, поди, не забыла бутылки, как ты ее... ха-ха... О, Господи! ха ха!

— То-то и есть: пошел со свечкой, а пришел с подбитыми глазами... А ведь в фонарь водки не нальешь, особливо ежели боков нету. Прощай, Василь Николаич. Ходил к бабке, — ушедши. Чать, родила?..

— Счастливо... А ты ежели што,—мою старуху, бабушку.

— О! А я ходил?..

Мужчина подошел к калитке и стал стучаться, а лавочник ушел в лавку, зевая и приговаривая:

— О-ох грехи, грехи... Тоже бабку!.. Столиция, столиция—штоб-те...—и он так стукнул половинкой двери, что чуть стекла не разбились в ней.

Долго стучался мужчина у калитки; несмотря на то, что даже самые ворота с заплотом шатались, обитателям не хотелось как будто выйти.

на двор. Наконец, к калитке подошел дворник и окликнул мужчину:—Кто?

— Чорт!—сказал мужчина.

— Чорт же и есть... Для вас, чертей, только и живем... Пьяницы!—и дворник отворил калитку.

— Ты не ругайся, дядя Петро: слышь, за бабкой ходил; жена родит.

— А, штоб вас!... Я вот возьму и запру. Отворяй сам.

— Эк, брат, ты разленился. Говорят, дома нету бабки-то. Вот што. А вот ты бы посветил маненько, лучше бы было.

— О! ха ха! проваливай, брат: у тебя и так в глазах-то, поди, светло.— И дворник запер калитку, а потом исчез в темноте.

Двор маленький, покрытый лужами, точно наводнением каким. Пахнет чем-то гнилым, прокислым, воняет кожей, салом. Мужчина то и дело наткался на стены и углы дома, то шлепал в небольшие ямы, в которых грязи и воды было ему на вершок выше колена. Откуда-то рвались привязанные на толстые бичевки собаки и с остервенением лаяли. Наконец, мужчина ущупал одно крыльцо и почти ползком вошел на него по шатким, слизким ступенькам, на которые ежеминутно скатывалась с крыш дождевая вода крупными каплями и барабанила донельзя по промоченной спине мужчины. Однако, путешествие этим не кончилось. Находясь в совершенной темноте и духоте, мужчина должен был подняться по лестнице с пятнадцатью шатких ступенек на узенький коридорчик, пройти его, подняться еще по лестнице с

двенадцатью ступеньками, завернуть влево и еще подняться. Вот дверь направо; он повернул налево, растопырил обе руки, ущупал дверь, наставил ухо к двери и остановился.

Тихо. Кто-то чихнул. Запищал ребенок.

— Конец! — и мужчина перекрестился, но все еще держал ухо у двери.

Он услышал женский голос.

— Жива!! — он опять перекрестился и отпер дверь.

Было темно; его сразу обдало воздухом, пахнувшим мылом, точно тут где-то стоит корыто с намоченным в нем мыльной водою бельем.

— Кто тут? — окликнул его женский старушечий голос.

— Яков.

— Опоздал. С новорожденным!

— А! Парнишко?

— Толстяк какой, — весь в тебя.]

Славно!

И мужчина завернул направо.

Узенький коридор был еще уже от кадок, сундучков и развешенных по стенам юбок и разного ветхого белья. Было везде темно, и мужчина ощупью дошел до двери, которая была не заперта.

— Вот кого надо за смертью посылать... — проговорила женщина в темноте.

— Дома нету акушерки то.

— И не нужно. Опять напился.

— Ей-Богу..

— Полно, и так разит.

— Ну вот, провалиться!

Мужчина зажег сальный огарок, который был воткнут в бутылку, и слабый свет от очень нагоревшей свечки осветил комнату. Направо, у стены на кровати, лежала женщина лет под тридцать. Лицо ее было бледно, худо, точно она рожала каждый год, и все ее дети были живы. Она была не очень красива, хотя у нее и было чистое лицо, у стены лежал ребенок и дышал тяжело. Возле кровати лежала какая-то старушка, скорчив ноги так, что ей было длины не больше аршина с четвертью и ее легко было бы взять в охапку и нести куда угодно. Комната маленькая — похожая на чердак, потому что та сторона стены, к которой были обращены ноги женщины и старушки, составляла крышу и шла наклонно от стены дверьми к ногам лежащим. Окна в ней не было. Вся мебель в ней состояла из кровати, небольшого столика, табуретки и двуногого стула. На стене висели: сарафан, полушубок, черный мужской кафтан и мужской грязный передник. Около стены, противоположной кровати, с крыши сочилась вода и падала на пол, на котором была уже порядочная лужа.

Мужчина снял свой халат и стал выжимать из него воду в лужу.

— Ты бы в коридор вышел, — и так, говорят, мы мочим, — сказала женщина.

— А нас не мочит? Нет, шалишь!

Немного погодя он подошел к жене.

— Ну, слава Богу, — сказал он, глядя то на жену, то на ребенка.

— Чево?

— Што родила; живой ведь.

— Лучше бы мертвый... Умрет, я думаю.

— Нет, пусть живет.

— А кормить-то кто будет: ты што ли?

— А ты-то на што?

— Я то... Ох! ты много ли заработишь себе на хлеб. Поди-ко, и мне надо жрать, а он как? Даст, поди-ко, он мне робить.

Мужчина замолчал. Запищал ребенок.

— Вот и молока нету! Согрей хоть, Христа ради, воды.

— А где бы я ее взял?

Теплой воды по всей квартире не было. Запастись ею раньше никто не догадался.

Встала старушка, накинула на себя салопчик и побежала в лавочку. Немного погодя, она принесла молока, разведенного в теплой воде, и сахар.

Мужчина долго не мог заснуть; не спала и жена его; ребенок пищал.

— Хорошо бы, кабы он жил, только как устроить, Матрена?.. Вот и здесь течет.

— Помрет.

— Што пользы,—хорони, то, другое; а капиталы где?

— Ну, чухнам отдадим.

— Не надо. Лучше в воспитательной.

— Я то же думала А звать как?

— Пусть Яшкой зовется.

Супруги замолчали.

Итак, родился человек, названный Яшкой, с которым родители не знали, что делать, с первого дня его рождения.

Яков Саввич Савельев и жена его, Матрена Ивановна, — уроженцы деревенские, но жизнь об них сложилась так, что первый еще мальчиком был взят в город в обучение малярному ремеслу; как подросток, вместе с артелью, в которой он обучался работать, переехал в Петербург; Матрена же Ивановна, тоже девочкой, была отдана в работы на кирпичном заводе, куда она ходила со своими подругами за пять верст от деревни и откуда получала денег по пяти копеек в сутки. Конечно, по мере того, как она подрастала, плата ей увеличивалась, но дошла только до двадцати копеек в то время, как ей минул девятнадцатый год; больше же двадцати копеек платы женщинам на кирпичном заводе не полагалось. Хотя у родителей того и другой в деревне были свои дома, они имели землю, за которую платили большой оброк, но земля эта не приносила им никакой пользы, потому что им приходилось больше тратить время на помещика, и поэтому почти все мужское население деревни сыздавна ходило на заработки или в города, или в столицы: дома оставались жены, которые управлялись с хозяйством, заменяли собою помещику рабочие силы, а если у них не хватало средств кормиться от остатков, которые были припасены раньше, то и они шли тоже на работы в ближайшие фабрики и заводы. Поэтому и неудивительно, что и Яков Саввич, и Матрена Ивановна с детства работали в разных местах. Однако, случилось так, что Яков Саввич женился на Матрене Ивановне. Каким образом случилось это, — здесь распространяться я считаю лишним. Женившись на Матрене Ивановне, Яков Саввич прожил в деревне только два месяца и укатил в Питер Про-

живши детство в городе, в артели, он еще тогда отвык от деревни, ему еще тогда было скучно в деревне без дела, а деревенская работа не нравилась; проживши пять лет в Питере, он уже и на города стал смотреть, как на деревни, а о деревне и говорить нечего. В столице он работал в больших каменных домах артелью, жил в артели много видел; ему правилась столица, как молодому человеку, хотя его и кормили скверно, и платили сравнительно с другими мало, и недоплачивали. Матрене Ивановне скучно было без мужа; к тому же она жила в доме, принадлежавшем родным ее мужа, и поэтому, как самая младшая в семье и взятая из бедного семейства, она должна была заправлять всем хозяйством, или быть с четырех часов утра до девяти вечера на ногах; но когда муж предлагал ей перед отъездом итти в Питер, она отмахивалась руками и говорила, что боится туда итти, да и примеров не было, чтобы какая-нибудь женщина ихней деревни или соседних уходила туда; кроме этого, все одно деревенцы рассуждали так: что муж должен ходить на заработки, а жена—жить дома. Впрочем, тут было еще большое препятствие: нужно просить помещика; хорошо еще, отпустит он. А если отпустит, то увеличит оброк и на жену. Так она и осталась в деревне, где и жила шесть лет. Муж ее приезжал в это время только два раза: один раз зимой, другой—летом, и она от него имела уже двоих детей—мальчика и девочку.

Яков Саввич не хвалился своим житьем в Петербурге. Он работал попрежнему в артели, потому что не умел жить один и не мог сыскать для одного себя работы. Что делала артель, то делал

и он; не было у артели работы, сидел и он без работы и проедал деньги, до этого заработанные. Хотя у него на пищу и на квартиру выходило немного денег, но однако, несмотря на то, что иногда ему приходилось получать в месяц рублей двадцать, — редкий месяц он мог откладывать из этих денег пять рублей на оброк, потому что, живя в артели, ему трудно и неловко было отстать от товарищей; если артель делала складчину или дозволяла себе какое-нибудь удовольствие, и Яков Саввич давал в нее деньги; а так как артель состояла из двадцати четырех человек, из которых многие были хорошие питухи, ели много, — к тому же с голодной пищи пилося и елось много, — то приходилось раскошеливаться снова, и это раскошеливание доходило до того, что к утру у Якова Саввича и его товарищей оказывалось в кармане не более пяти копеек меди. При таком положении Якову Саввичу нечего было и думать о том, чтобы его жена жила вместе с ним в Питере. Впрочем, он, занятый с утра до вечера работой, думал об этом, может быть, только тогда, когда находился в хорошем настроении, — что бывало очень редко, — и гнал мысль о совместном сожительстве в столице с женою тем: „А вот съезжу домой, побалуюсь, и все тут“.

Однако, судьба устроила так, что и его жена попала в Петербург, и это устроилось очень просто. Родная сестра Матрены Ивановны, Акулина, весной ушла с мужем в Петербург, бросив своим родным ребенка. Это не только удивило, но даже разозлило всю родню, и все приписали это обстоятельство не тому, что Акулина чересчур любила своего мужа, но говорили, что Акулина „паскуда“.

Но через три месяца Акулина плет оброк от себя, и все узнали, что Акулина живет где-то у господ в мамках, получает много и денег, и подарков. Это многих в деревне сбilo с толку; Матрена же Ивановна только и думала о том, как бы ей уехать в Питер, тем более, что жизнь ее в мужниной семье становилась все невыносимее и тяжелее, так что дошло до того, что ее стали попрекать уже Акулиной: „Вот Акулина, смотри, сама за себя и даже за мужа платит оброки,—а ты што? только чужой хлеб ешь“. Летом пришел к Матрене Ивановне муж: она стала ему говорить о том, как ей тяжело в деревне, как ей хочется в Питер и что она может сама быть кормилицей, когда родит. Муж долго не соглашался с женой, ругал ее, но заметив, что действительно жене скверно, решил взять ее с собой. Родился у Матрены ребенок, покормила она его с месяц, а потом отдала семье Акулининой, которая была добрее семьи ее мужа и к намерению Матрены относилась доброжелательно.

В Петербурге Матрена Ивановна проболталась с полмесяца. В это время она не могла даже поступить в кухарки. Насилу-насилу с помощью подарков вахтерам и старухам она попала в воспитательный дом и пробыла там на законной половине три месяца. Там она была, что называется, казенным человеком: одевалась, как и другие мамки, приучилась пить кофей, есть в положенные часы то, что прочие ели, кормила в сутки до десяти ребят, а с порученным ей дитем обращалась именно так, как обращается торговец с вещью; впрочем, в течение трех месяцев у нее было на руках пять ребят, которые скоро, по бедности родителей,

были отвозимы в деревни. В воспитательном она получала порядочное жалованье, которое выпрашивал у нее муж для того, чтобы отослать в деревню, но больше для своих расходов. По выходе из воспитательного с десятью рублями, Матрена скоро поступила в кухарки и жила на разных местах год, но потом захворала, пролежала в больнице четыре месяца, а по выходе поселилась с мужем на квартире и занялась прачешным ремеслом по найму у одной прачки, жившей в том же доме. Так она прожила два года. В это время у нее родился ребенок и умер. Через полгода после его смерти муж ее перешел к одному подрядчику на Петербургскую сторону и поселился в описанной выше квартире за рубль серебром в месяц с тем, чтобы ему носить хозяйке, вдове-чиновнице, дрова и воду.

Прачешное ремесло у Мытнинского перевоза было плохое дело для Матрены, и она нанялась в кухарки, но как только барыня заметила, что ее кухарка брюхата и ходит тихо—пыхтит, то и отказала ей. Поэтому до родов Матрена жила в квартире без дела две недели, в которые была редко сыта, часто бита мужем за то, что у него теперь расходов больше на ее кофеи, булки и вообще на ее утробу. Жена же утешала мужа тем, что она недолго будет жить на его шее и ребенок, вероятно, умрет, тогда она опять наймется куда-нибудь в прачки.

Ребенок не умирал. Его окрестили. После крестин прошла неделя, а Яшка живет и, как на зло, не дает матери покоя. Пойдет ли куда мать, ребенок плачет, хозяйка и жильцы сердятся, гово-

рят, что Яшка и им ничего не дает делать. Стали Якову Саввичу и его жене советовать отдать ребенка куда-нибудь. Яков Саввич злился.

— Я вот возьму да и уйду в артель, а ты как хочешь с ним,— говорит он жене.

— А чей ребенок-то?

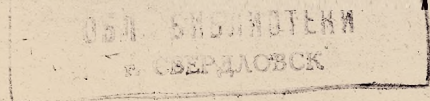
— Зачем шла сюда? Ты думала век в мамках-то будешь? Пошла с ним, с дьяволом в деревню!

Но Матрене Ивановне не хотелось идти в деревню. И на это она имела много оснований. Однако, как быть? Муж ежедневно попрекает ее; поступить на место—ребенок мешает. Отдать его в деревню на вскормление,—платить надо; отдать в воспитательный не хочется, потому что она знает, каков там обиход и каковы последствия. Наконец, муж стал постоянно приходить пьяный; узнала Матрена, что он без места, и товарищи его удивляются тому, что он пьянствует и никому не платит долгов. Говорили человека два, что его наняли подрядчик на десять рублей вскоре после рождения Яшки, еще до крестин, и вот он стал пьянствовать и буянить. Чем бы окончилось дело,—неизвестно, но скоро Матрена Ивановна нашла на Офицерской улице место кухарки за три рубля и в тот же день отдала ребенка чухонке на воспитание за три рубля в месяц. От мужа она ушла тайком, когда он был в кабаке, и с этих пор уже видела его только два раза: раз через три недели после поступления на место—в больнице, где он лежал в белой горячке, а во второй—мертвого через неделю после этого.

Деревня Тудари, в которой жила чухонка Катерина, взявшая на воспитание Матрениного сына, находится в Петергофском уезде, расположена на небольшом пригорке и окружена с трех сторон болотом, а с четвертой—небольшими пашнями, с которых хозяева их получают очень немного. У этих чухон нет ни яблок, ни малины и других ягод,—и все их богатство, в отношении растительного царства, за исключением ржи, составляет картофель, который урождается не всегда хорошо, и сено, которого, при небольшом количестве коров, хватает на зиму едва-едва. Поэтому мужское население деревни большею частию работает или около Царского Села на подрядчиков, или занимается извозом, тоже по подрядам, в Петергофском уезде и в самом Петербурге: женщины же носят в Петергоф молоко, сливки, масло и яйца. Но главный предмет их промышленности состоит в том, что они воспитывают детей. Почти каждая хозяйка дома знакома очень хорошо с воспитательным домом, и поэтому ей небольшого стоит труда получить оттуда детей, имея дело, конечно, с конторой, в которой (не знаю как теперь) прежде приходилось ей оставлять половину платы за каждое дитя. Случалось так, что уже старая женщина получала ребенка, обязываясь кормить его грудью. Женщине нужно было только взять на свое имя дитя, а потом она могла его перепродать другой чухонке за молоко или за что-нибудь, уступить для того, чтобы самой получать плату и не возиться с ним. А так как в каждом доме была не одна женщина, то все эти женщины тоже получали с законной половины, потому с законной, что деревня Тудари находилась недалеко от

воспитательного дома. Поэтому в деревне Тудари детей разных возрастов было больше взрослых, но из них родные дети холили, как следует, были сыты и здоровы, и с ними обращались, как с родными, конечно, на счет посторонних. И только какая-нибудь болезнь, в роде коклюша, при тамошнем сыром климате, грязной обстановке в избах иногда неблагоприятно действовала и на родных детей, которые умирали так же легко, как и посторонние.

Дом Катерины ничем не отличался от других домов. Такая же большая грязная изба, холодная зимою и сырая, душная летом, и такая же маленькая комната—жилье самих хозяев. У Катерины было двое детей, взятых из воспитательного дома,—мальчик и девочка; своих детей у нее было трое: два мальчика—одному четыре года, другому шесть лет—и девочка двух лет. Но Катерина была женщина добрая: как тех, так и других детей кормила ладно, потому что у нее были две коровы и десять коз; молока она не жалела для детей, и дети были здоровы,—что давало ей повод упрекать других женщин в даровом получении денег от казны и ссылаться на священное писание, которое она любила читать в первый год замужества, и, как женщина набожная, и теперь без книжки никогда не молилась Богу. Однако, она слово „воспитание“ понимала буквально; она только думала, что ребят надо кормить, и она кормила чужих—молоком и хлебом; своих—молоком, булкой с маслом, картофелью; все, что ели сами родители, ели и их дети; если же дети Катерины были сыты до отвала, то остатки давались чужим; что же касается до ухода за чужими детьми, то это не вхо-



дило в программу воспитания: чужие дети были едва прикрыты, ихние одежки изнашивались родными детьми; они валялись по полу, как попало, кашляли, хворали, спали в корытах почти у самых дверей избы, несмотря на то, что зимой холод охватывал первых их, и только тогда советовались с доктором, когда дело было уже плохо. А ссветовалась Катерина с доктором потому, что, если умрет ребенок, она лишится платы и ей уже не так легко потом достать ребенка.

Дети Катерины хотя и были малы, но понимали из обращения родителей, что половина из них чужая, и старались с своей стороны как-нибудь обидеть их, отнимая от них то, что занимает их, колотя, и т. п., на что родителями не обращалось большого внимания.

Яшка, или по чухонски Яска, был больной мальчик. Поэтому Катерина, получавшая от его матери больше, чем она получала из воспитательного дома, ухаживала за ним больше, чем за другими чужими детьми потому, вероятно, что за этого ребенка нужно платить доктору, а за казенных нет. Но Яшка не поправлялся—и однажды заболел серьезно. Катерина повезла его в воспитательный под видом Васьки, мальчика, находящегося у нее из воспитательного дома.

И Яско-Васька, пролежав в воспитательном месяц, стал выздоравливать.

Поехал в Тудари доктор воспитательного дома. Пришел к Катерине; ее не было дома; дома была только старуха, и то больная. Доктор был молодой.

— У, старая, сколько у тебя ребят то, как свидей! — проговорил доктор старухе, входя в избу.

— Слава Богу.

— Ну, которая у тебя девчонка из воспитательного?

— А вот, што ползет

— И этот тоже спитальной,—сказал мальчик Петр, указывая на мальчика из воспитательного дома.

— И этот? — Доктор стал посмотреть табличку.— Как же у вас одна девочка значится?

— Нет, у нас мальчик и девочка,—сказала старуха.

Васька сказал, что он и Машка воспитательные.

Доктор записал мальчика и уехал.

В воспитательном справились: от Катерины взят мальчик Василий в больницу. Решили, что или доктор ошибся, или Катерина смошенничала.

Катерина струсила. Явилась в контору. На нее начали сыпаться угрозы.

— Моя старуха больная; она плохо видит и плохо слышит,—говорила Катерина и стала просить ребенка домой.

Ей-было совсем хотели отдать ребенка, да ординатор поверил ее билет с документами: госпитальный ребенок Василий значился трех с половиною лет, а находящемуся в больничной палате было два года.

Нарядили следствие и разузнали, что Катерина проехала на счет казны. Яшку отдали ей, а казенных детей от нее отобрали.

Теперь у Катерины стало меньше детей, и стало меньше доходу, но она была рада, что отделалась так легко, хотя с этим Яшкой она из-

расходовала целых пятнадцать рублей. Вот она эти деньги и хотела наверстать каким-нибудь образом. Несмотря на ее набожность, она подумывала, что если бы Яшка был девочка, то ей и думать бы нечего: она бы стала девочку лелеять, а потом продала бы ее в Питер, а мальчика кто у нее купит, да и за мальчика мать скорее ухватится. Мысль эта, впрочем, пришла ей в голову еще и вследствие того, что Матрена еще перед болезнью была у нее, а с тех пор она даже в воспитательном доме не навещала своего сына, хотя Катерина ее и предупреждала об этом. Стала Катерина розыскивать Матрену — не нашла. В адресном столе она не могла тоже ничего узнать.

Стала Катерина советоваться с мужем.

— Не купит ли его какой подрядчик? Рублей десять дал бы, — говорила она.

— Подожди, может быть, еще мать его явится.

Подождали неделю. Умер у Катерины старший сын.

— Это от Яшки. Надо продать Яшку, — настаивала Катерина.

— Теперь он пусть будет работником нашим, — решил муж Катерины.

Так Яков и остался у Катерины.

Через месяц после этого муж, приехавши из Красного Села, говорит Катерине:

— Надо Яску хорошенько растить, потому мне подрядчик говорил, что он его возьмет, как ему будет шесть лет. Я ему-было говорил, что тогда мне Яков будет нужен самому, только он мне обещает дать двадцать рублей. Как по-твоему?

— Это хорошо. Лишь бы теперь жил, а после, как деньги получим,—пусть околевает.

— А теперь вот он дал задатку два рубля.— И муж отдал жене деньги.

Вследствие этого Яшке спили ситцевую рубашку в которой они ползал весело по полу, вызывая со стороны родных детей Катерины зависть и лепеча по чухонски: кулла! майт!

После смерти мужа Матрена Ивановна усердно работала. Она была сперва кухаркой; но так как ей, при ее строптивом характере, при ее неуступчивости и неумении кланяться, унижаться и выжидать трудно было где-нибудь ужиться на одном месте более месяца, она поступала преимущественно или к бедным людям, чиновницам, едва сводящим приход с расходом и даже запутавшимся до того, что их постоянно осаждали кредиторы и, наконец, выгоняли вон с квартир, или к аферистам, рассчитывающим платить за квартиру пятнадцать рублей, а с квартирантов получать сорок пять рублей и живущих скупю; ее постоянно перед выходом от какой-нибудь квартирной хозяйки обвиняли в краже белья, или ложки, или какой-нибудь вещи, так что в последний раз ей пришлось просидеть понапрасну в полиции неделю, и за это ей ничего не заплатили, потому что настоящий вор нашелся, — то Матрена Ивановна опять поступила в услужении к прачке, в Фонарный переулоч, за пять рублей. Работа была каторжная, хозяйка развратная, неумеющая приберечь деньги. Матрена Ивановна постоянно слухала

брань; хозяйка недосчитывалась из ее стирки какойнибудь вещи и вычитала деньги, так что к концу месяца ей пришлось получить всего только два рубля. Матрена Ивановна перешла к другой прачке, но у той дела было много, и к ней постоянно ходили какие то евреи за долгами. Тут Матрена Ивановна прожила всего только неделю и потом поступила на бумажную фабрику.

Я не буду описывать того, как работала Матрена Ивановна. Но не мешает сказать, что жизнь на мануфактуре сперва ей нравилась: ей казалось хорошо работать с женщинами преимущественно молодыми; там было весело; можно было острить не только друг над дружкой, но и над мужчинами, можно было и покуражиться, так как мужчины оказывали особенное предпочтение молодым женщинам. Хотя Матрена Ивановна и была немолода, но лицо ее еще многих мануфактурных франтов привлекало, и она по истечении месяца уже имела кавалера, который и стал жить с ней в отдельной квартире, за которую оба они платили рубль серебром, получая — он 50 к., а она 30 к. поденщины. В это хорошее для нее время она часто ездила в деревню Тудари, возила подарки Катерине, которая отдавала их своим детям. Хотя ей и хотелось взять ребенка к себе, но Иван Прохорыч и думать ей об этом не велел и даже высказал свое сомнение насчет ее нравственности. Маленький Яков ничего ей не мог сказать о своих воспитателях тем более, что он по русски не умел сказать ни слова и даже как будто боялся своей родной матери; воспитатели же при посещении Матрены Ивановны делали вид, что они очень любят Яшу и ухаживают за ним даже луч-

ше, чем за своими детьми, так что Матрена Ивановна, не подозревая ничего, была ими вполне довольна. Но любовь Ивана Прохорыча продолжалась недолго; он скоро стал ухаживать за другою женщиною даже при Матрене Ивановне; дома говорил Матрене Ивановне дерзости и раз, когда Матрена стала упрекать его Пашкой, он побил ее так, что она пролежала два дня. И хотя потом Иван Прохорыч старался быть с нею ласков, но она уже не любила его так, как прежде. Мануфактура ей противела, потому что над нею стали смеяться, стали давать ей работу не по силам. Не вынесла Матрена Ивановна всех неприятностей — и опять нанялась в прачки, и на этом месте с нею случилась беда. Раз она утюжила белье с хозяйкой. На доске была разложена юбка. Хозяйка только что поставила на плитку, находящуюся на конце доски, большой утюг, а Матрена Ивановна стала подбирать с полу края юбки. Вдруг хозяйка как-то задела за стул: доска свалилась, свалился и утюг и попал прямо на обе руки Матрены Ивановны. А утюг был почти каленый, так что в момент падения он не годился для глаженья, потому что прожигал. Матрена Ивановна стала лечиться домашними средствами, как-то: намазывая руки медом, мочила в чернилах и т. п., и все таки должна была поступить в больницу. От того ли, что она поступила в больницу поздно с больными руками, или уж лечение было такое, только ей отрезали кисть правой руки, а на левой два пальца.

Так она и вышла из больницы калекой.

Еще в больнице один доктор в шутку называл Матрену Ивановну трехпалой, и Матрену Иванов-

Ну до самого ее выхода из больницы все называли не иначе, как трехпалую. Хотя в той палате, в которой она находилась, было много женщин, испытавших ампутацию и подвергавшихся различным операциям, только почему-то многим из них казалось смешным безобразие Матрены Ивановны. Добро бы глаз, нога или что другое, а то на вот-те правая рука без кисти, а на левой только три пальца!.. И выдумают же ведь лекаря такую штуку! — И потом обращались к Матрене Ивановне:

— А што, трёхпалая, как ты теперь будешь белье стирать?

— И откуда, и за что Бог такое наказание мне послал? Кажись, от роду чужого ничего не кра-ла. Вот только девчонкой когда была, правда, морковь тоже воровала. Ну, и за то, ахти, как драли!

— Ну, значит, кладено за грехи родителей. А все-таки ежели бы ты не крестьянского рода была, пальцы бы, пожалуй, целы были.

На эти утешения Матрена Ивановна ничем, кроме слез, не могла отвечать.

В самом деле, что она будет делать с единственными тремя пальцами?

И проклинала же Матрена Ивановна свою жизнь. Много она в ней видела причин, которые довели ее до этого несчастья; но больше она проклинала себя за то, что, оставив в деревне ребенка и позарившись на большие деньги, пошла в Петербург. Теперь все ее дети в деревне померли, дом перешел к мужниной родне, и ее, пожалуй, теперь не пустят в дом, а если и пустят с Яшкой, то будут попрекать, и какова там будет жизнь Якову?

„Нет, Бог с ней, с деревней, промаюсь как-нибудь в Питере: Яшку как-нибудь на ноги поставлю; хоть он будет моим кормильцем“, думала она, но до самого выхода не придумала рода занятия.

— Ты в богадельню иди,—советовали ей больные женщины.

— Околею,—не пойду. Не хочу, чтобы мой сын со мной дарма жил.

— Ну, сына-то и в военную возьмут.

— Не смеют.

По выходе из больницы Питер показался ей совсем другим городом. Строения, каналы и воздух были прежние, только ей казалось странным то, что теперь все люди глядят на ее руки, все как будто удивляются и смеются над ней, даже извозчики издеваются, говоря: „Ой тетка, отморозила руки-то, пьяная!“ Нигде она не может найти себе работы со своими тремя пальцами, нет у нее денег для того, чтобы нанять угол. Хочется есть, пить... Делать нечего, хоть и не старая она женщина, а пришлось просить Христа ради.

И стала она просить милостыньку в церквях; стала петербургскою нищею.

Но и это ремесло шло не совсем выгодно. Она была трезвая, не якшалась с прочею нищею братиею. И ее не любили нигде. Поэтому она решилась выбрать себе один приход и постоянно ходить туда и для этого поселилась на Петербургской стороне, в самом глухом переулке, обитатели которого состояли из самых бедных людей, не нуждающихся ни в фонарях, ни в тротуарах, боя-

щихся петербургского треску и движения, раз в год бывающих в Петербурге и живущих со своими соседями, как близкие родные или как самые хорошие знакомые.

Хозяйка этого дома, вдова, немка Каролина Павловна, бывшая замужем за чиновником, который и построил этот дом, была седовласая и хромая старуха. Она жила с дочерью маленьким пенсионом. Дочь ее, тоже вдова, с тремя маленькими детьми, из коих самой старшей девочке было пять лет, только и умела делать что узоры, которые она поставляла немцу магазинщику на Васильевском острове. Кухарки у них не было, и так как обе они, мать и дочь, были немки набожные, то и взяли к себе трехпалую Матрену даром жить в кухне и служить за это Терезе в роде вьючного животного, т. е. таскать с рынка провизию, так как руки у Матрены могли же что-нибудь подцепить и нести. Кроме хозяйки и дочери, в доме жил хромой сапожник, поставлявший сапоги на две три улицы и слывший под именем Редьки, вероятно, потому, что его лицо, вследствие безжалостной оспы, было похоже на губку. Редька, или Осип Харитонович, работал сам, единственной своей персоной, сам готовил себе кушанья, сам за всем ходил и жил, говорят, очень скупо в будни и мертвецки напивался по воскресеньям.

Кроме воскресений, он знал только большие, главные церковные праздники. Этот сапожник вел ежедневно войну с мещанином Романом Савате-

евым и его любовницей Татьяной Павловной из за того, что они все затемняли ему дневной свет, проходивший со двора в единственное его окно тем, что или вешали белье и ставили станок для тканья ниток в бичевки как раз против его окна, а дети их приводили со стороны других детей, и если не было развешано белье или не было станка, ставили тоже против его окна концы бабок, попадали в стекла, около его стены начинали играть в мячик и на его ругань огрызались как маленькие собаченки.

Все эти люди понравились Матрене Ивановне. Все они жалели ее и ничего не видели худого в том, что она ходит собирать в церковь гроши. Особенно ей понравился сапожник, который часто спрашивал у нее.

— А што, Матрена, нет ли у те хлеба?

— Нету, Осип Харитоныч, не подают.

— Плохо. А я бы взял. Мне бы на сухари. Я сухари очень люблю, особливо во щах, да и зубов коренных у меня нет. А што грошей много? Я бы у те разменял гривну. Они, лавочники проклятые, не всегда отдают гроши. Им-то каждая денежка барыш, а нам бедным, калекам, прости Господи, убыток.

И если у Матрены бывали гроши лишние, она меняла. Скоро они так подружились, что Матрена грош или два и в долг давала Осипу Харитонычу.

Немка и ее дочь Матрене скоро опротивели; говорят по-немецки, ее не поят, не кормят и заставляют работать.

— Матрена, держи корзину! — говорит Тереза, позабывши, что у Матрены только три пальца.

— Как же я, барыня, буду держать тремя пальцами?—скажет Матрена обидчиво.

— А я и позабыла... Ну, может, помои выльешь?

Попробует Матрена ведро,—три пальца не могут долго сдержатъ.

Да и самой ей скучно было без дела, а делать она не умела тремя пальцами. Стало-было учиться чулок вязать, терпенья не хватило. Начала она детям сказки рассказывать, а те, видя, что она ни-шья и ничего делать не может, стали издеваться над ней, лазить на нее и, наконец, дошли до того что обращались с нею, как с куклой, а матери потакали им.

И хорошо ей было только у Осипа Харитоныча. Хоть два часа сиди у него и смотри на него, он углубившись в свои думы, упорно молчит, передергивая драгву в калошах, сапогах и т. п. Случалось, и засыпала у него Матрена; а у немки нужно было все ходить да ходить.

Вот и задумала Матрена Ивановна обучить своего Яшку сапожному ремеслу. Высказала она свое намерение Осипу Харитонычу. Он одобрил.

— Только он еще мал. Пусть там растет у чу-хон. Они терпенья его обучат; ну, и опять, на двух языках будет говорить,—говорил сапожник.

— Нет, уж я лучше при себе.

Попросила она барыню немку дозволить жить ее Якову с нею в кухне; немка обиделась.

— Наши дети неровня твоему. Ишь, что выдумала. Я так и знала, что ты своего ребенка намерена взять. Иди к своему Рельке.

— Бог с вами, барыня.

— Я очень хорошо понимаю, зачем ты ходишь к сапожнику. Хороши оба: он — как терка, ты — с тремя пальцами.

Горько сделалось Матрене; сказала она об этом Осипу Харитонычу, тот пошел к немке с протестом. Немка косилась или просто сделала вид, что ей до калек нет дела; пусть они делают, что хотят. Следствием этого посещения было то, что Осип Харитоныч пустил к себе Матрену на квартиру и разрешил ей привезти ее сына.

Яшка был болен, когда к Катерине приехала Матрена Ивановна. Но ей его не отдали.

— Мы его уже законтраковали и поэтому тебе не отдадим, — говорил муж Катерины.

— Да я бы вам заплатила, — денег нет. Ну, посмотрите на мои руки.

— Раньше бы взяла, — так. Вот через два года мы его подрядчику отдадим.

Так ни с чем и воротилась домой Матрена.

За нее взялся хлопотать Осип Харитоныч. Он был отставной солдат и поэтому поступил по-солдатски.

— Какое имете вы право держать чужое дитя? Где вы такой закон нашли? Вы его продать хотите? Разве он котенок или собака? Да и тут настоящий хозяин не позволит! Да я вас! Я вас упеку! Я сам царю служил; Георгия имею; я сам к царю пойду! Да знаете ли вы, чухны поганые, что я раз в год у самого царя обедаю?

Чухны трусили, но стали просить денег за целый год.

— Сколько? — спросил Осип Харитоныч.

— Тридцать шесть рублей.

— Тридцать шесть палок вам всем надо, а не рублей.

Однако, он отдал Катерине тридцать шесть копеек.

Катерина и ее муж обещались жаловаться, но Яшку отдали.

Яшке было уже четыре с половиною года, когда Матрена взяла его к себе; он бегал, но по-русски не знал ни слова, а лепетал по-чухонски. Поэтому Яшку никто не понимал; Яшка кричал, плакал, брал что-нибудь самовольно, бил последнюю посуду Осипа Харитоныча и был мучением для него, любящего спокойную жизнь. Ни Яшка, ни Осип Харитоныч друг друга не понимали, и поэтому почтенный сапожник стал учить ребенка по русски колотушками; а так как эти колотушки чем попало Яшке приводилось получать часто, то Яшка становился все хуже и хуже: стал забрасывать шило, таскал сапоги, мазал сальной свечкой стены, что сапожника приводило в ярость, и он сперва было привязывал мальчишку к стене, как это делают с собаками, а потом, когда ему надоел крик мальчишки, стал выгонять его во двор. Но и там плохо было Яшке. Мальчишки видели в нем какого-то урода и называли его немым, и если Яшка, не понимая ихнего разговора и насмешек, вламывался в ихнюю компанию и тащил что-нибудь, его били; хотя и он барахтался, толь-

ко это барахтанье ему приносило одни синяки и царапины. Осип Харитоныч каялся, что взял к себе такого чертенка, которому никак в голову не вколотишь того, чтобы он слушался хозяина, не лепетал по чухонски, сидел смиренно и т. п. Осипа Харитоныча злило то, что если Яшка доберется до хлеба, то жрет, как собака, и как только сожрет, опять плачет и мяучит что-то по-кошачьи, так что его приходится умирать плеткой. Осип Харитоныч, правда, любил только сам хорошо поесть; он и Матрене Ивановне редко давал похлебать щей из своего горшка, а Яшке уделял уж так, ради Христа, малую толику. Сама же Матрена Ивановна редко что-нибудь варила у себя, потому что ее кое-где кормили за ее услуги. У ней на***й улице было уже несколько благодетелей, которым она носила с рынка провизию и сообщала какие-нибудь новости, выслушанные ею или на паперти от нищих, или на рынке.

Яшка чуждался как матери, так и сапожника. Когда его станут ласкать, он плачет; хотят взять его на руки — тоже плачет, и это бесило сапожника, а сама мать сознавала, что у нее как-то сердце не лежит к ребенку, он как будто чужой ей. Если удастся ей приласкать его и посадить на колени, да он перестанет плакать, она и говорит ему:

— Горемычные мы с тобой, Яшенька; нету у нас кормильца.

Яков только и лепечет: „лейб! майт“!.. *)

И чем больше мать станет ласкать его, он тем сильнее разревется и растягивает до изнеможения: „ма-айт! ма айт“!

*) Хлеба, молока.

— А, чтоб те, постреленку... Какая тут мат? — и начинает плепать ребенка трехпалой рукой.

И самой ей жалко ребенка, да сделать она ничего не может, а сапожник сердится.

— Вот выгоню я вас, будете шататься.

Стала Матрена брать Яшку с собой в церковь, что ей с тремя пальцами стоило большого труда, но Яшка был маленький, ничего не понимал, бегал куда не следует, плакал, кричал; Матрене выговаривали, гнали прочь...

— Господи! что я стану делать с ним? Хоть поколел бы, — говорила она с отчаянием, когда ей было невтерпех,

— Иди с ним в богадельню, — советовали ей.

— Нет, в богадельню я не пойду: там я в четырех стенах должна жить, пить, есть казенное, по мерочке, казенную одежду носить. А теперь я все же вольная пташка.

— Ну, отдай куда-нибудь мальчишку.

Но куда его отдать? Кто его возьмет, такого маленького? Матрена хорошо понимала, что когда в церкви Яшка был при ней, она больше получала денег.

Так и билась Матрена с сыном два года в течение которых Яков уже научился говорить по-русски. Но таким, каким хотел его видеть сапожник, он не сделался. Хотел Осип Харитоныч сделать его ручным и для этого употреблял всякие средства, — ничего не помогло; вышло только то, что Яшка очень боялся Осипа Харитоныча, когда тот был налицо, а как не было сапожника, Яков де-

лал, что хотел, и даже над своею матерью выделял разные штуки.

Осип Харитонович сперва начал заставлять Яшку что-нибудь подавать ему. Сидит Яшка в углу и скоблит щепкой пол.

— Яшка! — крикнет он.¹

Яшка вздрогнет и попытается еще назад, хотя уже и пятиться-то некуда.

— Тебе говорят?! — крикнет сапожник.

Яшка вытаращит глаза и трясется.

Вскочит сапожник, схватит плетку, Яшка закричит. Начнет сапожник хлестать Яшку, Яшка кусает. Сапожник в ярости вытолкает Яшку на двор. Бился, бился с ним сапожник, — бросил учить; трезвый стал выгонять его из комнаты, и только пьяный потешался над ним, как только мог. И если он бил крепко Яшку, тот убегал под лестницу и заливался слезами и сидел до тех пор, пока не придет мать и не вытащит его оттуда, или не приласкает Татьяна Павловна, которая не любила сапожника. Вот эта-то женщина и стала говорить Яшке, чтобы он шел жить к ним, и он терся больше у нее. Но вдруг ребята стали учить его, чтобы он насыпал сапожнику в глаза табаку. Яшке это понравилось, и наконец, когда ему стало уже невтерпёж, он украл у матери гривну и купил нюхательного табаку.

Яшка видел, что его враг после обеда иногда спит с полузакрытыми глазами. Но, как на зло, после этой покупки сапожник стал редко ложиться спать после обеда, а если и спал, то больше лицом к стене, и ему было неловко насыпать ему табаку,

потому что нужно было взлезать на кровать, карабкаться по сапожниковой спине... Недостало у Яшки терпения, боялся он, чтобы табак не открыли у него, тем более, что его мать и сапожник его не нюхали, а сапожник только курил махорку. Вот, раз вечером, когда сапожник велел Якову сбежать в лавочку за кислой капустой и стал отдавать ему копейку денег, Яков размахнулся и бросил в лицо сапожника пригоршню табаку.

Совершив такой подвиг почти в один момент, Яшка выбежал на двор, ничего не понимая, как ошалелый, и чуть не сшиб с ног мещанина, ткущего нитки.

— Ах чтоб те, чертенок! Сблудил, чай, опять что нибудь?

Но Яшка ничего не слушал; он далеко уже бежал по улице, что удивило лавочника Петра Павлыча.

— Куда ты, дурачок, бежишь! Аль што украл? Постой-ко?!

Яшка пуще прежнего пустился бежать! Ему было страшно; в глазах у него рябило. Он пробежал улицу, переулок, наконец, устал, оглянулся, — никого нет. Тут в его голове мелькнуло: куда? Он постоял и заплакал.

— О чем, мальчишко, плачешь? — спросил его какой-то чиновник.

Яшка заплакал пуще прежнего.

— На! — и чиновник протянул Яшке руку, на ладони которой было обкусанное яблоко.

Яшка робко взял яблоко и стал смотреть на него.

— Ну что же ты? Ешь.

Яшка швырнул яблоко и пустился бежать, но скоро попал в канаву, которой было с четверть грязи. Кое как он выполз из грязи, но идти дальше не мог.

Ему хотелось есть; ноги болели. Но ему дышалось легче, чем у сапожника. Уже вечерело. Солнце садилось. Канавка находилась около парка: напротив того места, где сидел Яшка, был заплот. Было тепло. Сидел сидел Яшка, боясь подняться потому, чтобы его не словил сапожник или кто-нибудь: сон одолел его, и он заснул.

— Утром его растолкали двое городских.

— Тащи его, поди, околел, — говорил один городской другому.

— Видишь дышит. А чорт с ним, — бросим! — говорил другой.

— Может, пригодится.

— Однако, ты ни одного еще не взял к себе?

Яшка сел и дико смотрел на усатых господ в солдатской одежде.

— Чей ты? — спросил Яшку один городской.

Яшка глаза на него вытаращил.

— А вот мы посмотрим!

На Яшке была надета рубашка и поверх рубашки рваная Осипа Харитоновича жилетка, под которую поместилась бы свободно еще пара таких же Яшек.

— А жилетка то ничего... Чай, полтинник стоит: из плису делана, — люблюсь жилеткой, говорил производивший у Яшки обыск городской.

— Непременно он у какого-нибудь вахтера украл ее... Што же с ним? — оставим!

— Где ты живешь?

Яшка опять вытаращил на городских глаза.

— Есть у тебя родители?

Яшка пустился бежать.

Но городовые его поймали и потащили в будку, в печи которой стояла чугушка с картофелею.

— Дай! дай! Ан-лейб.—пропищал Яшка по-чухонски и подбежал к печке.

— Молчи, жиденок!

Городовой не надолго вышел на улицу, а Яшка схватил палку и хотел ею достать чугушку, но та только опрокинулась.

— Ах ты вор!!

И вошедший городовой выхватил из рук Яшки палку, два раза огрел ею его, а потом связал и связанного представил в полицию.

Стали там спрашивать Яшку, кто он, кто его родители, где он живет—Яшка смотрел дико.

Вскоре в газетах было напечатано такое объявление:

☞ „Такого-то числа в таком-то квартале ***-й части взят заблудившийся мальчик, называющий себя Яшкой, повидимому, 6 лет от роду, лицо у него белое, волосы светлорусые, одет в синюю из пестряди рубаху и большую мужскую жилетку, о чем объявляется во всеобщее сведение с тем, чтобы родители, родственники либо знакомые сего мальчика явились лично для принятия его к приставу исполнительных дел ***-й части, в которой названный Яшка в настоящее время находится и ничего о себе объяснить не может“.

Можно себе вообразить, какую ярость произвел такой неожиданный поступок в Осипе Харитоныче. Хотя большая часть табаку попала в его открытый большой рот; но так как табак попал и в оба глаза, то, ощущая боль в них, Осип Харитоныч несколько минут не мог прийти в себя и, протирая глаза своими кулаками и выплевывая табак, он сперва думал, что и глаза у него вывернутся из своих мест, и язык вытянется из глотки. О, он тогда в клочки бы изорвал этого негодяя! Он метался, как зверь, по комнате, не видя свету, ругался, кричал, уронил свое сидение, натолкнулся на окно, расшиб стекло, что возбудило смех и удивление мещанина Романа Саватеева. На его хохот прибежала его любовница, ребятишки, а хозяйка с дочерью выглядывали во двор из своих окон.

— Черти! дьяволы!.. Ведь ослепили, — кричал Осип Харитоныч.

— Так и надо. Ты выше других хочешь быть, — вот Бог и покарал тебя, — говорила со смехом любовница мещанина.

— Проклятые!! Воды хоть дайте.

— Дайте ему воды, — сказала хозяйка

— Где бы мы ее взяли: мы воду-то с Невы берем; теперь она у нас вся вышла. Вот вы запасливы: вы пьете кофей, вы и дайте, — сказал мещанин хозяйке.

Хозяйка позвала одного из ребят и послала его к Осипу Харитонычу с чайною чашкою.

Промывши глаза, Осип Харитоныч первым делом стала искать Яшку.

— Он убег, — говорили ему.

— Некуда ему убежать. Я знаю, что его спрятали. Ну, так ладно же! Завтра же иду в полицию и буду жаловаться на всех вас. Я вам покажу!! Я кавалер; Георгия имею.

И Осип Харитоныч заперся в своей комнате, стал дожидаться Матрены, выдумывая, что бы ему такое сделать с ней, то-есть, чем бы ее хорошенько побить. Но Матрена нейдет. Уж вечер наступил, она нейдет и, вероятно, не будет, как это и раньше бывало. Пошел он в кабак и там напился до того, что едва вышел оттуда, как свалился, так и заснул, так что утром кабатчик должен был растолкать его.

— Брат, Осип! Встань. Неравно, раздавят.

Но Осип Харитоныч спал. Пришлось кабатнику окатить его холодной водой и потом опохмелять.

Осип Харитоныч пришел домой пьяный; но там еще во дворе сказали ему, что Матрена еще утром была и потом, узнавши, что Япка убежал, пошла разыскивать его.

Зло брало Осипа Харитоныча, и он, одевшись и выливши еще для храбрости осьмушку, пошел в полицию.

Там ему сказали, что Матрена уже получила своего мальчишку.

— Я прошу ее посадить, а мальчишку выдрать, потому он меня чуть-чуть слепцом на всю жизнь не сделал. Я кавалер, имею Георгия, и вдруг нищенский парнишко меня уморить осмелился.

— Поди, поищи ее. Если она точно нищая, мы ее проморим месяц-другой.

Осип Харитоныч пошел на другой день в ту церковь, где обыкновенно стояла Матрена; Матрена не бывала. Нищие сказали ему, что она ушла с Яшкой в Питер.

В Питер сапожник не пошел.

Незадолго перед вышеописанным происшествием Матрена Ивановна стала попивать водку. Сперва ее потчевал Осип Харитоныч по воскресеньям, потом ее стали завлекать к этому веселящему и успокаивающему напитку нищие. Сперва поили ее, потом стали требовать, чтобы и она угощала их. Сперва она пила с отвращением, потом мало по-малу дошла до того, что, идя домой, непременно заходила в кабак и выпивала если не стакан, то рюмку, а если у нее было денег больше обыкновенного, она брала посудину с водкой с собой для того, чтобы угостить своего приятеля, который непрочь был на ночь выпить дарового. Матрене Ивановне было скучно без дела, а выпивши водки, она спала, и спала долго; но до бесчувствия она еще ни разу не напивалась, а если, бывши в гостях у какой-нибудь своей такой же горемычной, как и она, приятельницы, чувствовала, что ноги подкашивает, то спала там же. Но часто случалось, что деньги у нее выходили все на водку, так что утром ей не на что было купить хлеба, и она это несчастье относил к тем, которые любят прохаживаться на чужой счет. Ей не полюбились нищенки, стало скучно на Петербургской, надоело давать взятки городовым за право ходить по улицам с кошельем. Опротивел Осип Харитоныч, с

каждым днем становившийся придирчивее к ней; ей было жалко Яшку, которого вместо того, чтобы учить ремеслу как следует, Осип Харитоныч только тиранил. Она не раз заступалась за него, говоря сапожнику, что Яшка мал, глуп, потому что воспитывался у чухон, а, Бог даст, подрастет, будет понимать; ей было досадно, и она высказывала, что чужого дитя никому не жалко и его бьют, как собаку, но сапожник и слушать не хотел ее и с нею обращался как с подчиненным ему человеком. Все это приводило Матрену Ивановну к тому заключению, что ей надо отсюда уйти. „Что я, в самом деле, пришта что ли сюда. Питер-то слава те Господи“, — и ей припомнилась прошлая жизнь, когда она часто меняла места: то жила на Песках, то вдруг попадала в Коломну, то за Московскую заставу. Но тогда она была одна, теперь что ей делать с сыном? Надо его отдать кому-нибудь в мастерство, но кому, если у нее нет знакомых? Из ремесленного класса были у нее, правда, знакомые жены мастеров, — но мужья ихние говорили, что Яшка мал и всего лучше ей отдать его в обучение какому-нибудь мастеру, имеющему свою мастерскую. Но у таких мастеров она потерпела неудачу. В одних местах говорят: у нас и так много, и этим не рады, в других, — и самому хозяину с семейством есть нечего, в третьих — хозяева пьяницы, и никто их не хвалит. Поэтому желание переселиться в Петербург с каждым днем у нее становилось сильнее, только ее что-то удерживало на Петербургской: ей не хотелось совсем расстаться с Осипом Харитоновичем, который, хотя и был скуп и сварливый человек, но зато у него ей было тепло, и кроме него, ее никто не беспокоил.

После поступка Яшки ей казалось уже не совсем удобно жить у Осипа Харитоновича, и поэтому, предъявив в полиции все права на Яшку, она пошла с ним на Никольский рынок, где надеялась скорее продать его.

Больше недели Матрена Ивановна ходила на Никольский рынок, терлась там с разными женщинами, нанимающимися в услужение, много наслушалась там всякой всячины, перенесла разные неприятности, а не нашлось в нанимателях такого человека, который бы взял к себе Яшку. Если и были желающие, то одни говорили, что мальчишка мал, на нем нет ни сапогов, ни фуражки, или — что он смотрит таким зверенком, что из него никакого проку не выйдет, и при этом каждый, осматривая его, как гуся или поросенка, делал о нем нелестные для его матери заключения. Все это Матрену Ивановну злило и выводило из терпения, к тому же голодный и мерзнувший Яшка бежал от нее туда, где тесно, или забивался под стол, выжидая, чтобы ему было удобнее спаять ломоть булки или черного хлеба. На рынке были тоже мальчишки его лет, но те не продавались, имели на ногах сапоги, и головы у них были покрыты хоть платком, и поэтому они, чувствуя свое превосходство над таким голышом, выказывали ему свое презрение колотушками, щипками и плевками, что они очень скоро перенимали от своих матерей, теток и сестер, гнавших от себя прочь Яшку, потому, что того часто торгашки ловили с краденою булкою или хлебом, и поэтому очень недолюбливали всех баб, их ребятишек, могущих, пожалуй, разворовать половину непроданного хлеба, опрокинуть столы или наделать еще что-нибудь хуже,

Тогда как с ребяташек взятки—гладки, а с их матерей,—что возьмешь, когда они сами часто приходят сюда с церковной паперти.

Нельзя сказать, чтобы такая жизнь, весь день под открытым небом, нравилась Яшке, и для него было большою радостью то, когда мать поворачивала от рынка в которую-нибудь сторону. Это значило, что мать идет куда-нибудь, где и ему будет можно посидеть и соснуть. Однако, мать редко тотчас с рынка шла на ночлег. Она обыкновенно шла в многолюдный кабак, где думала скорее сбыть с рук Яшку. Они приходили в заведение уже тогда, когда в нем было порядочное количество людей, еще только что начинающих раскучиваться, и постоянно получали приглашение побеседовать в ихней компании с тем, что сама Матрена должна была показывать свои руки и рассказывать историю о том, как ей обрезывали пальцы и отпиливали кость, хотя она ни того, ни другого не видала, а Яшка служил часто посмешищем для пьяной компании, которая его вертела во все стороны, как котенка, заставляла бегать, плясать и петь, дразнила и т. п., за что сама Матрена была угощаема водкой, которою потчевали и Яшку. Матрена, конечно, была рада угощению; пьяная, она не заботилась о теплом угле, а о мягкой постели она уже давно не думала; до того же, что пьяная компания издевается над ее сыном и учит его чехоршему,—ей не было дела: Яшка ей не мешал, не просил есть, своею особою доставлял удовольствие людям. Такое фиглярство Яшке сперва не нравилось, и он рад-не рад был, когда компания позабывала о нем; тогда он забивался под стол и сидел снова до тех пор, пока его оттуда не выталкивали; потом

он мало-по-малу втянулся в это фиглярство и уже стал надоедать своим усердием компании, которая не любила навязчивости. Было ли какое сожаление в пьяной компании к Якову, сказать трудно, если принять во внимание то, что почти каждый посетитель заведения провел свое детство не лучше Яшки: были люди в этой компании, которые даже завидовали Яшке.

— Пусти его, еще нос раскроит, — уговаривал товарищ товарища, тормозившего ребенка,

— Не хрустальный, — не разобьется. Мы в его лета в мастерской сажу глотали да пинки получали, а он благоденствует, — отвечал другой товарищ товарищу.

Из числа посетителей трех заведений, куда в течение дня заходила с сыном Матрена Ивановна, было несколько таких, которые были сами хозяева, а четверо — даже имели мальчиков. К ним Матрена Ивановна часто подъезжала с просьбой о мальчишке, но те или заговаривали о другом, или отвечали так, что мать и надеялась на них только до другого дня.

— Што ж мальченку-то моего берешь? — спрашивала Матрена Ивановна на другой день портного.

— А я разве обещал?

— Как же.

— Ну, так ты дура, и больше ничего; мало што я с пьяна-то скажу...

— Ты посоветуй...

— Што я тебе могу посоветовать?..

— Да долго ждать-то.

— Какая ты важная особа, право. Мы вот по неделе работы ждем, да по три месяца за деньгами

ходим. И ничего ты против этого не поделаешь, мать моя.

И мать била сына от злости, — сын мешал ей, за него она должна была платить за ночлег лишние две копейки, хотя там, где она почевала, помещение было очень маленькое, битком набитое ночлежниками.

Ночлежники эти были все люди бедные, жалующиеся на свою судьбу и проклинающие Божий мир, в котором они неизвестно для какой цели живут. Все они думали, что выпросить милостыньку или что-нибудь украсть, имея здоровые руки, не составляет греха. Большинство держалось этого мнения потому, что оно, во-первых, или с детства влачило такую жизнь, не видя нигде ни радостей, ни ласки, и общество смотрело на него, как на негодных людей, а помощи не подавало, а, во-вторых, если оно служило, старались, так сказать, выжать из него силы для того, чтобы жить лучше на их счет. Все эти люди злились на людей, непохожих на них, были оборваны, никогда не надевались, употребляя деньги преимущественно на водку, жили общественно с людьми ихнего сорта, имели друзей одинаковых с ними мнений, никогда не жаловались на маленькое нездоровье и часто умирали, выходя из питейного заведения, в ночлежных помещениях или кидались в Неву или в каналы.

Матрена Ивановна, хотя и считала себя честною, ничем не запятанною женщиною, потому что весь ее промысел состоял в том, что она протягивала руку с тремя пальцами на церковных папертах и жила на собранные таким образом деньги, но жизнь ее мало чем разнилась от жизни этих

людей, и выходу из нее она не видела. Но еще если бы она была одна, тогда ей было бы легче, но у нее был сын, которого ей никак не хотелось пустить по той дороге, по которой идут, очертя голову, эти ночлежники. К тому же она была женщина смиренная, в ночлежном помещении к компании не присоединялась, а ложилась спать и гнала от них прочь Яшку, которого компания учила разным штукам не из желания сделать из него вора, но ради развлечения. Поэтому такое обращение ее ночлежникам не нравилось, потому что они боялись, чтоб трехпалая нищая не выдала их полиции, и ей приходилось часто переменять места ночлегов.

Так прошло, по крайней мере, полгода. У Яшки была рваная фуражка, рваные ботинки, которые Матрене пришлось стащить на толкучке, а для того, чтобы Яшка не мерз, она накидывала на его плечи платок, который немного согревал грудь. Матрена стала больше сидеть у церкви: у нее явилось отвращение от рынка, от ночлежников, от кабаков; она говорила несвязно, так что многие называли ее помешанной.

В одну холодную зимнюю ночь компания ночлежников долго бушевала в своей каморке, но Матрена с сыном спала. Вдруг в эту каморку, помещающуюся в третьем этаже, имеющую одно окно с разбитыми стеклами и почему-то заколоченное досками изнутри, вошла полиция и приказала всем итти за собой. Стали толкать Матрену.

Матрена итти не хотела, показывая на свои пальцы; однако, повели и ее.

— И мальчика берите, — крикнула Матрена со злости.

— Мальченка нам не надо. Ему, поди, всего-то пятый год, — сказали полицейские.

— А кто ж его беречь-то будет? Нешто я могу его оставить в квартире; да он все разворует, — проговорила хозяйка этой каморки, которой тоже скрутили руки.

Полицейские посоветовались друг с другом и, нашедши, что мальчика оставить в пустой квартире неловко, взяли с собой и Яшку, хотя noticeable — шесть мужчин и две женщины — протестовали против этого, опасаясь того, чтобы мальчишка не показал на них чего-нибудь, так как он имел уши, глаза и язык. Они даже просили полицейских не брать Матрену, но мнения ихние насчет ее были различны: знакомые с полицией и судом люди прямо указывали на Матрену, говоря: „Напрасно всю нашу компанию берете, во всем виновата, вона, эта трехпалая. У ней и три пальца на двух руках, а она зато имеет зоркие глаза, и в голове у ней хитрости всякий познать может“...

Камера в полиции была, что называется, битком набита всякими людьми, но Матрена с сыном попала в женскую.

Через неделю Яшку выпустили из полиции, а мать отвели в тюрьму, хотя она и ни в чем не была виновата.

Яшка вышел из полиции, напутствуемый арестантами такими словами: „Теперь у тебя ничего и никого нет. Иди в первую лавку, украдь что-нибудь, и тебя опять возьмут сюда. А здесь весо-

ло: поют песни, играют в карты, разговаривают, поят, кормят“.

Яшке было холодно на улице; он не знал, куда ему идти, а идти в лавку, как его учили, он боялся.

Яшка мерз и плакал.

— О чем, мальчик, плачешь? — спрашивали его прохожие.

Яшка ничего не мог отвечать.

— Заблудился, должно быть, бедный мальчишка. Чей ты?

Яшка дико смотрел на всех.

— Странно, что он стоит у полиции, и полиция не возьмет его? — говорили в толпе, глазевшей на Яшку.

Яшке дали денег, но Яшка не знал, что ему делать с деньгами; толпа все росла.

— Идите прочь! Его только что из полиции вытолкали, потому мать у него — нищая и в краже замешана; поэтому ее в тюрьму взяли.

— Но как же ребенок?

— Пусть идет, куда хочет.

— А если у него нет квартиры или хозяина?

— Дело не наше. Пусть делает, что знает, — спокойно отвечал городской.

— Жалко, мальчишки. Взять разве мне его себе, — сказал один рябой мужчина в полушубке и в мерлушчатой шапке и потом, обратясь к Яшке, сказал:

— Мальченко, иди ко мне.

Яшка глядел на него лукаво.

— Што глядишь-то как бык? — Не обижу. У меня своя лавка; к торговле обучу. Ну, што ж ты?

Яшка попрежнему озирался на народ.

— Пошли, што стоите! Экая невидаль?—говорил городской и гнал толпу от полиции.

Мужчина взял Яшку за руку, он заревел; мужчина хотел посадить его на руки,—Яшка кусается.

— Точно собака с цепи! А вот мы разузнаем суть,—проговорил мужчина в мерлушчатой шапке и повел Яшку в полицию.

С полицией мужчина был знаком, и ему скоро разрешили взять Яшку к себе.

Взявший к себе Яшку мужчина был крестьянин Филипп Егорыч Маслов. Он торговал на толкучке разным тряпьем, а жена его, Авдотья Исаевна, торговала тоже на толкучке мелочью—чулками, штанами, платками и т. п. Маслову хотелось давно прослыть между торгашами состоятельным торговым человеком и иметь мальчика, которого он никак не мог приобрести даром. Хотя Маслов торговал в одной маленькой лавчонке или шалаше и все мог в ней делать сам, но, имея еще мальчика, он думал, что покупатели на него будут больше обращать внимания, чем на других товарищей, не имеющих мальчиков, потому-де, что у Маслова много товару и много покупателей. Маслов одел Яшку так, что Яшка походил теперь в пальтишке на другого человека. Но Маслов только этим и ограничился. Правда, Яшка спал в квартире Маслова, в углу в прихожей. Яшке давали хлеба, огурца, а иногда и вареную печенку (с собой добрые супруги Яшку никогда не кормили и то, что сами ели, ему не давали), зато Яшка должен был делать все, что прикажет сам Маслов или его жена. Яшка должен был воду и дро-

ва таскать, полы мести и затарать, угождать прихотям хозяина и хозяйки, таскать тяжести, в роде того, что он должен тащить за собой санки с товаром хозяев до толкучки, бегать для них там за кипятком, бегать с разными поручениями и за каждую оплошность получать шлепки. Такое движение, кроме исполнения таких поручений, которые были не по силам, Яшке нравилось; но он был голоден, над ним все смеялись, все его били и, главное, — ему было скучно торчать в лавке без дела и получать подзатыльники от хозяина, если у того долго не было покупателей, и хозяину было скучно.

— Что ж ты, чертенок, стоишь тут без дела? — спросил вдруг хозяин Яшку, стоящего в дверях и ковыряющего от скуки нос.

Яшка попятился назад.

— Ты, шельма эдакая, должен кричать прохожим: чего изволите? пальты! брюки! жилеты! — говорил Маслов, теребя Яшку за уши.

Соседи хохотали. Но такая наука не нравилась Яшке, и он больше и больше был молчалив.

Например, стоит он у сундука и чертит что-то пальцем по куржаку.

— Ты што стоишь? Нет, штобы куржак полои стер.

Яшка при первом слове вздрогнет и стоит на одном месте.

Хозяин схватит аршин, Яшка кинется вон из лавки. Хозяин догоняет и начинает бить мальчишку на потеху других торгашей.

Ничего не помогает. Яшка не слушается. Перестал хозяин кормить мальчика, — мальчишка стал красть.

— Боже ты мой милосердый, што стану я с негодеям делать?—думает и говорит Маслов.

— Прогони, и все тут; еще пожар сделает. Не даром мать у него воровка,—говорила Маслову жена.

Маслов стал принимать крутые меры; дома он просто тиранил мальчишку так, что тот стал убегать к соседям, которые иногда ласкали его.

— Терпи-голубчик, ты еще маленький,—говорила ему какая-нибудь старушка..

— Бьют они... Больно бьют. Есть не дают,—говорил Яшка.

— А ты угождай.

Хотелось Яшке угодить хозяину, но не было к тому случая. Еще лежа на полу, Яшка думает угодить ему или жене его, а как он встанет да начнет что-нибудь делать, хозяева бранят его, что он делает все напоказ; заплачет Яшка,—бьют; пошлют Яшку куда-нибудь,—хочется Яшке скорее сбегать,—придет назад,—говорят, зачем ходил долго, начнут допытываться, где был так долго. Яшка злится, и у него является мысль сделать с хозяином какую-нибудь штуку.

Иногда хозяин и потешался над Яшкой острил, щипал его. Это он делал, находясь по получении изрядного барыша в хорошем расположении духа; приласкать или похвалить Яшку было не в характере хозяина, который сам из мальчишек попал в торгаши, и у него своих детей не было. Подобно Маслову и торгаши—соседи его—позволяли себе развлекаться Яшкой, а другие мальчишки по вечерам позволяли себе оскорблять Яшку по своему. Яшка злился на всех: ему хотелось вырваться от Маслова, но уйти было нельзя, потому что

он был постоянно на глазах то у самого Маслова, то у его жены.

Впрочем, был у Яшки приятель, тринадцатилетний мальчик Петька из соседней лавочки, и вот почему Яшка любил больше стоять у двери.

Выйдет Яшка к двери, посмотрит направо, — Петька стоит у двери. А Петька был шустрый рябой мальчишка. Он постоянно огрызался со своим хозяином и раньше этого перебивал уже у нескольких хозяев.

— Яшка, гляди—ястреб! — скажет Петька

Яшка глядит кверху и по сторонам, Петька бросит в Яшку камешек или комок снегу.

— Яшка, иди сюда!

— Нельзя.

— А ты возьми да и иди. Ты уйди от него, убеги.

— Врешь?!

— Ей-Богу! Убежишь — другого возьмет. Украдь

— Боюсь.

Хозяева позовут мальчишек, а у Яшки голова точно не на своем месте. Он думает: „Погоди ж ты, украду и убегу“.

И Яшка хотел убежать, хотел украсть чтонибудь, но не знал, что бы ему такое украсть. Ему хотелось украсть полушубок у хозяина, только тот был очень тяжел.

Все готовились к Пасхе. Торганши были злее обыкновенного. В субботу у Маслова шла страпня, пахло хорошо, как никогда до того Яшка не слыхал. Все пошли к заутрени, а Яшку оставили дома; немного погода пришел Петька, разломал замок, и вот с ним-то Яшка забрал кое ка-

кие печенья со стола, завернул их в салфетку, разлил по полу водку, оделся и ушел из дому.

Беспрепятственно они влезли в дровяной двор под ворота и забились между двух поленниц. Там он покушал и заснул. Перед рассветом Петька убежал с вещами и потом не являлся целый день.

Между тем в квартиру Маслова забрались воры и утащили немало добра.

Начали разыскивать Яшку, — Яшки нет нигде; Петька струсил и пошел в дровяной двор, но его, когда он пошел назад, увидал сторож двора и стал ругать, зачем он шляется; однако, Петька убежал, а у сторожа закралось подозрение, не спрятал ли чего этот мальчишка, и явилась мысль: „Если он что спрятал, то я немножко разживусь“.

Сторож отыскал только Яшку. Он знал Яшку, потому что тот мимо дровяного двора ходил с Масловым на толкучку.

— А, соколики! Тебя давно уж ищут. Говори, где краденое? — напал на Яшку сторож.

— Петька съел.

— Нет, не съел, а ты говори, где спрятал.

— Я не воровал.

— Ну, хорошо. Так иди же к Маслову.

— Пусти, ради Христа.

— А-а? Бойшься. Послушай, мальчишка, я тебя пушу, только ты скажи: где ты со своим приятелем вещи спрятал?

— Ей Богу же, я не воровал.

И сторож свел Яшку к Маслову, а Маслов в полицию.

Но в полиции только наказали Яшку и Петьку розгами, а потом выпустили; хозяева обоих приятелей прогнали от себя.

— Не тужи, Яшка, мы найдем себе новых хозяев,—утешал Яшку Петька.

Петька повел Яшку на толкучку, но там, как только увидали воров, все торгаши, как стая собак, накинулись на них, и много они получили себе в спины калачей.

— Это все ты!—говорил Яшке Петька.

— Нет ты! Ты меня учил,—говорил Яшка.

— Пойдем воровать.

И приятели целый день ходили по городу, а к вечеру Петька убежал от Яшки.

Яшка еще побродил по улицам, зашел в одну лавочку, попросил Христа ради.

— Нет, што ли, родителей-то?—спросил лавочник Яшку, когда тот после отказа лавочника стал хныкать.

— Нет.

— Где же ты жил?

— У Маслова... на толкучке торгует... убежал.

— Ну, малец, уходи... ты, должно, вор.

— Дяденька... хоть в полицию отправь.

— Иди, иди... Уж не стащил ли чего?

Лавочник осмотрел Яшку, дал ему ломтик хлеба и выводил вон из лавки, чувствительно толкнув его в шею.

Когда лавочник выталкивал из лавки Яшку, по панели шла пожилая женщина с корзиною на голове.

— Што, Данило Ульяныч, вора поймал?—спросила она лавочника остановясь.

— Да много их тут шатается. Кто его знает: просит милостыньку, а может и вор.

— Так. Экой махонькой!.. — проговорила женщина и сняла с головы корзинку. В корзинке оказались яблоки и лимоны.

— Тетушка,пусти меня..

— Ишь ты!.. Ну, брат, и выдумал же ты. Иди туда, откуда пришел..

— Матери у меня нету, в тюрьму взяли:

Это заставило остановиться и лавочника, и женщину.

— Ишь ты! Значит, известного поля ягода, — сказал лавочник улыбаясь.

— А кто твоя мать была? — спросила женщина.

— Нищая.

— Ах она... И украла?.. Вот и подавай после этого... — сказал лавочник; а потом прибавил: — Да и тебя, брат, видно тоже надо туда спровадить; не даром ты давеча в полицию просился.

— Виноват я што ли, — огрызался Яшка, — когда у матери всего было три пальца.

Лавочник захохотал, а женщина спросила:

— Три, говоришь?

— Три. На этой. — И Яшка показал на левую руку.

— А как твою мать звали?

— Матрена.

— Матрена? Как не знать Матрены: я ей часто подавала. Только я тебя что-то не видала у нее.

— Тетушка, возьми меня, — заплакал Яшка.

— Возьми, коли знаешь его мать, — сказал лавочник.

— Кто его знает. Я у нее не видала мальчишки. Впрочем, завтра я справлюсь. Ну, мальчишка, иди.

Хозяйка, у которой жила на квартире эта торговка, стала гнать ее и мальчишку, но та показала на Яшку, который трясся от голода. Хозяйка согласилась оставить мальчишку только до утра.

Утром эта женщина справилась на паперти одной церкви и узнала, что действительно у трехпалой Матрены был этот мальчишка, что он редко стоял с нею рядом, а больше где-нибудь бегал и что Матрена теперь сидит в тюрьме по обвинению в краже, что, говорят, на нее свалили ночлежники, которых будто бы уже выпустили.

— Ты, что ли, себе на воспитание его берешь?— спросили нищие торговку.

— Куда мне его. Я сама-то живу в углу.

— Надо его пристроить куда-нибудь, а то избалуется. Пропаций человек будет.

— Уж я пристрою.

Эта торговка имела несколько постоянных покупателей. Вот к одному из них, немцу, она и пошла с Яшкой. Дорогой она учила Яшку так:

— Ты, смотри, помни, што зовут меня Настасьей, тетушкой Настасьей Ивановной. Если будут тебя спрашивать, где мать, ты говори - в больнице. Ты говори: вот меня тетушке Настасье Ивановне мамонька препоручила. Делай, говорила, с ним, что хочешь, а главное, — хорошим людям отдай.

Яшка молчал. Ему все равно было, куда бы ни попасть, лишь бы не идти в мороз.

Подшли к большому четырёхэтажному с подвалами дому, на котором было много вывесок.

— А как меня зовут?— спросила вдруг женщина Яшку.

— Не знаю.

— Какой ты глупый! Тетушка, мол, Настасья Ивановна. А тебя как: Еким!

— Яшка!

— Ну, Яшка Петров, — и все тут.

И они вошли в квартиру немца, помещавшуюся в подвале со сводами.

В большой комнате на скамейках, около двух стен и двух окон, сидело в разных позах мальчиков восемь и, нагнувшись, что-то шили, заштопывая иголками сукно или коленкор в тиковые штаны, надетые на них; кроме штанов, на них были синие пестрядные рубашки, сшитые на немецкий манер. На небольшом полукруглом столе, покрытом черным сукном, стояла жестяная кружка с водой, ножницы и кусок мела.

Мальчики все были с длинными волосами, с бледными, худыми щеками; некоторые из них кашляли. При входе торговки с Яшкой они разговаривали вполголоса и с удивлением поглядели на Яшку.

— Дома, ребятки, сам то? — спросила торговка мальчиков.

— Нету; ушел к давальцу, тут недалеко.

Торговка ушла. Через час она вернулась с Яшкой опять в эту квартиру. Немец был дома.

Это был толстенький лысый господин с высоким лбом, с рыжими волосами и одетый в серый пиджак. Когда торговка вошла в швальню, он хлестал линейкой одного мальчика.

— Не время... другой раз приходи, — проговорил немец сердито, увидя торговку.

— Я, Иван Иванович, не за деньгами; я к вам мальчика привела.

— Не надо!

— Он из-за хлеба.. Мне за него ничего не надо.

— Не надо. Пошла вон!

Торговка пошла к самой хозяйке, т.е. жене немца. Сам немец помещался во втором этаже. Через посредство жены немец согласился взять к себе Яшку, который и был отведен в тот же день в швальню.

Жизнь в швальне Яшке с самого начала показалась противною. Мальчики смеялись над ним, делали на его счет нелестные замечания, называя его моченой грушей, хотя он не был корявым; острили над его манерами и над каждым его движением, как будто этим вызывая с его стороны какое-нибудь возражение; подмастерья гнали его прочь и делали вид, что они его хотят ударить или сморкнуть в его сторону. Пришел сам Иван Иваныч, кое у кого посмотрел работу, закричал на одного пятнадцатилетнего мальчика, схватил его за длинные волосы и начал возить по швальне. Остальные мальчики хладнокровно смотрели на эту сцену, двое подсмеивались, один вздрагивал. Яшке было страшно до того, что он готов был убежать. Оттеревивши одного за волосы, немец принялся тузить другого, а третьего завтра же приказал отвести в полицию и попросить отодрать розгами. Но к Яшке он обратился ласково.

— Ты, любезный, будешь учиться по линейке шить, а потом посмотрим. — Иван, очисти для него место, — обратился он к пожилому, худощавому человеку в пальто, только что пришедшему с улицы, и затем немец ушел.

По уходе немца все мальчики в швальне заговорили: началась ругань. На Яшку никто не обращал внимания. Немного погодя стали ужинать, т.е. хлебали какую-то бурду, но Яшку не пригласили; так он и просидел на одном месте. Пос-

ле ужина несколько мальчиков стали осматривать Яшку, расспрашивать его, а некоторые стали даже вызывать его на драку. Два восемнадцатилетних мальчика шили, потому что им дано было сшить на урок.

Спальня мальчиков немца помещалась рядом со швальней за перегородкой, в которую свет проходил сверху, так как она не доходила до потолка. За этой перегородкой около стены были сделаны широкие нары из досок, а на них лежали, наподобие подушек, мешки, набитые соломой; на двух нарах было два тюфяка, но те принадлежали большим мальчикам, тем, которые теперь шили. Здесь было душно, сыро. Мальчики улеглись спокойно, но Яшке места не оказывалось, на нарах, и ему пришлось лечь на полу, который был очень грязен, потому что мылся раза три в год, и то на деньги всех мальчиков; подостлать Яшке что-нибудь никто не дал, потому что сами они под себя стлали свои халагишки.

На другой день все мальчики были разбужены в пять часов и занялись шитьем. Главный подмастерье и закройщик, Никитин Матвей Алексеевич, усадил Яшку чуть ли к самой двери и заставил шить на холсте. Большого труда стоило Яшке владеть иглой: он хотел убежать, потому что сидевший с ним рядом мальчик до слез донимал его своими остротами, тычками и ученьем, за которое он от Никитина получал выговоры. Однако, день прошел благополучно: он завтракал, обедал, ужинал; хозяин его похвалил; он познакомился с тремя мальчиками, и ему дали место на одних из

нар, так как хозяин немец одного мальчика прогнал.

Все мальчики, работавшие у немца, были дети бедных родителей, которые отдали их немцу, или получивши от него малую толику денег, или даром, единственно для того, чтобы они вышли от него портными; но надо сказать правду, что все отдавали мальчиков потому, чтобы избавиться от них. Все мальчики жили даром до известного срока, до 15 и 17-летнего возраста, а потом хозяин должен был им платить жалованье. Теперь же за работу немцу они получали от него нары, пищу и одежду, состоявшую из халатов и рубашек с штанами, сапог и фуражки; а которые постарше были, те могли в праздничные дни чтонибудь починавать на волю, и таким образом зарабатывать деньги себе. Весь день мальчики были заняты шитьем; если у кого не было работы, тот разговаривал, острил, а если он был моложе других, старшие давали ему свою работу, обещая в праздник угостить водкой и закуской. Все развлечение мальчиков состояло в песнях и в том, что они острили друг над другом; а в праздник, если не было работы, шли развлекаться за ворота куда-нибудь подальше от дома или в кабак, где и прокучивали все деньги.

Под влиянием таких товарищей рос Яшка и мало по малу всосался в эту жизнь. Как ни тяжело ему было, как ни трудно привыкать к жизни и сиденью, не разгибая спины по целым дням, а он привык, дожидаясь то завтрака, то обеда, то ужина и нар, а затем субботы и воскресенья, в которое он мог выйти на свежий воздух или его кто-нибудь приглашал в кабак, потому что ему

больше других приходилось получать от немца нобои за то, что он скверно шил. Он умел остричь как угодно, петь песни, но к этому его нужно было вызвать чем-нибудь особенным. Он больше молчал; на него как будто никакая острога и насмешка не действовали; зато уж если на него нападает стих остричь или петь, то он всех заткнет за пояс.

Так он прожил у немца три года. В это время несколько человек умерло из артели, некоторые отошли от немца, а Яшка остался попрежнему простым мальчишкою с тем, что хозяин на него налегал часто, заставляя, например, сшить сюртук в одни сутки. В это время Яшка уже хорошо шил и мог в праздник заработать на себя копеек пятьдесят, но эти деньги уходили все на угощения в трактире или кабаке, на что его постоянно вызывали товарищи, которые все свободное время хотели провести на отличку, чтобы было о чем поговорить в рабочее время.

На четвертый год жизни у немца в швальню пришла его мать. Она была уже старуха. Яшка обрадовался ей, хотел жить вместе с нею, но она сказала, что хочет идти в богадельню, и пошла просить немца, чтобы тот не обижал Яшку. Немец дал старухе денег, расспросил ее, откуда она родом, где родился Яшка и, обещав из Яшки сделать хорошего человека, велел ей подписать какую-то бумагу. Иван Иванович позвал Яшку. Яшка, живя у немца, уже успел выучиться настолько грамоте, что разбирал печатное и умел подписывать свою фамилию.

— Подписывай, — сказал немец.

Не подозревая ничего, Яшка расписался за мать

и получил от хозяина полтинник денег на водку.

С этих пор немец стал ласковее с Яшкой. Яшка теперь меньше шил, а больше был рассылным хозяина, что не нравилось товарищам, но он все-таки в товарищеском кругу был попрежнему щедрым, и что делалось в швальне, до хозяина не доходило, а делалось там иногда многое не во вкусе хозяина. Зато Яшка редко получал какую-нибудь работу со стороны, и если получал доходы, то от давальцев, которым приносил вещи, и от этого у него развилось попрошайничанье и лганье. Хозяин же платья ему не давал.

Прошло еще три года. Яшка стал понимать, что ему даром работать и служить хозяину не придется и Яшка, как его называли обыкновенно все и как называл он себя сам, хотя от матери он и слышал, как звали его отца, стал поговаривать немцу и о плате. Немец или ничего на это не отвечал, или грозился отправить его в полицию. Товарищи стали подстрекать Яшку приступить к хозяину, и если он не будет давать денег, уйти от него. Яшка так и сделал. После ссены с немцем он утащил из швальни сукно, заложил его и начал пьянствовать, надеясь скоро найти другое место. Но его пьяного же привели в полицию и отдали под суд.

Яшка не сознался, что он украл сукно. Он говорил, что он от немца никогда за работу не получал ни копейки денег.

— Ты не должен был получать до семнадцатилетнего возраста. Тебя мать отдала Ивану Ивановичу на срок, — отвечали ему и показывали засаленную бумагу.

— Меня не мать отдала немцу, а какая-то торговка, — отвечал Яшка.

— Ах ты, свинья. Тебя так учили в полиции показывать. Это не ты подписывал? — И ему показывали на подпись. Тут Яшка понял, что немец сделал с его матерью штуку. Но спросить теперь мать об этом было трудно, потому что она назад тому три года убежала из богадельни, и труп ее нашли на взморье, только не могли определить, — чей он, потому что он уже сильно разложился.

Судебная палата через полтора года по аресте Яшки приговорила его за воровство к тюремному заключению на два месяца.

По выходе из тюрьмы со званием Якова Савельева, Яшка долго ходил к разным хозяевам портным, но его никто не принимал на том основании, что его паспорт был замаран и он за воровство сидел в тюрьме. Что было делать ему? Денег нет, за квартиру просят денег, хочется есть, никуда на работы не принимают, а воровать он не умеет, сойтись с ворами боится. К счастью натолкнулся он на биржу и там проработал месяца два, но зато все деньги уходили на еду и водку, от которой он уже не мог отвыкнуть, да и тяжелая работа на бирже как-то невольно тянула его по праздникам развлекаться в кабаке. Наконец, он захворал; но скоро поправился. Доктора нашли, что он, хотя и слаб немножко, но может жить вне больницы. Яшка просил, чтобы его еще подержали в больнице, но его выписали. Вышедши из больницы, Яшка чувствовал, что он не в силах работать на бирже... Еще не решивши, что ему предпринять, он пошел зря, куда глаза глядят. Он шел долго и, наконец, зашел в такую улицу, где и дома поплотнее,

и мостовые несколько лет не починивались, и народу по ней почти не видать. Ноги устали, на квартиру идти некуда, и он, задумав завтра идти на какую нибудь фабрику, решил спросить дворников, нет ли тут квартиры, где бы ему можно было переночевать. Присел Яшка к одному каменному дому и от нечего делать стал смотреть в подвальное окно. И видит он, что там нет никого: на столе лежит коврига хлеба, какой то горшок с ложкой.. Он встал бессознательно, вошел во двор и подошел к двери, где, по его мнению, находилась комната с ковригой хлеба. „Мне бы только хлеба“, думал он. Но дверь заперли на замок.. Яшку пробирает дрожь; ему хочется сорвать замок: он пробует, но сил нет... Замок худой, накладка уже надломлена, а сил нет... Вдруг он увидел около стены ломик, похожий на тупое долото, чем отбивают намерзнувший снег с панели, и ни о чем не думая, засунул его за накладку и стал пробовать. Скоро накладка сломалась, и замок с нее свалился, и он положил его в карман, а потом вошел в дворницкую (то была дворничья) и, бросив ломик под печку, подошел к столу.

Лишь только он схватил хлеб, как в дворницкую вошел дворник, городской и двое мужчин. Яшку связали и отправили в квартал.

Через год в окружном суде назначен был суд над Яшкой с участием присяжных заседателей, а через несколько времени в одной петербургской газете была напечатана судебная резолюция, состоявшаяся такого-то числа и месяца в уголовном отделении окружного суда. Окружный суд постановил: „Выслушав дело о крестьянине Якове Савельеве, признанном виновным в покушении на

кражу со взломом во второй раз, на основании таких-то и таких-то статей уголов. суд., лишив всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, заключить в рабочий дом на один год и четыре месяца, по освобождении же из рабочего дома, согласно такой-то ст. улож. о наказ., отдать под особый надзор местной полиции на два года.

Что будет с Яшкой после этого наказания и куда он потом попадет, — решать считаю излишним.
